

БИЛИНГВА BESTSELLER

# THE GREAT GATSBY

*Francis Scott  
Fitzgerald*

# ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ

*Фрэнсис Скотт  
Фицджеральд*



УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

Ф66

Francis Scott Fitzgerald

THE GREAT GATSBY

Перевод с английского *С. Ильина*

Оформление серии *Н. Ярусовой*

В коллаже на обложке использована работа  
художника *Жоржа Барбье*

**Фицджеральд, Фрэнсис Скотт.**

**Ф66** Великий Гэтсби. The Great Gatsby / Фрэнсис  
Скотт Фицджеральд ; [пер. с англ. С. Ильи-  
на]. — Москва : Эксмо, 2018. — 448 с.

ISBN 978-5-04-095999-0

«Великий Гэтсби» — самый известный роман Фрэнсиса Фицджеральда, ставший символом «века джаза».

Америка, 1925 г., время «сухого закона» и гангстерских разборок, ярких огней и яркой жизни. Но для Джея Гэтсби воплощение американской мечты обернулось настоящей трагедией. А путь вверх, несмотря на славу и богатство, привел к тотальному крушению. Ведь каждый из нас в первую очередь стремится не к материальным благам, а к любви, истинной и вечной...

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

© Ильин С., наследники, перевод на русский язык, 2018

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

ISBN 978-5-04-095999-0

## Chapter 1

**I**n my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since.

"Whenever you feel like criticizing any one," he told me, "just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had."

He didn't say any more, but we've always been unusually communicative in a reserved way, and I understood that he meant a great deal more than that. In consequence, I'm inclined to reserve all judgments, a habit that has opened up many curious natures to me and also made me the victim of not a few veteran bores. The abnormal mind is quick to detect and attach itself to this quality when it appears in a normal person, and so it came about that in college I was unjustly accused of being a politician, because I was privy to the secret grief's of wild, unknown men. Most of the confidences were unsought — frequently I have feigned sleep, preoccupation, or a hostile levity when I realized by some unmistakable sign that an intimate revelation was quivering on the horizon; for

## Глава 1

**В** пору моей впечатлительной юности отец дал мне совет, который с того времени нейдет у меня из головы.

«Всякий раз, как у тебя возникнет желание осудить кого-то, — сказал он, — вспоминай, что не все люди получили на этом свете блага, которые выпали на твою долю».

Вот и все, что он мне сказал, впрочем, разговоры наши всегда отличались редкостным немногословьем, и потому я понял: отец подразумевал нечто большее. В результате я приобрел склонность воздерживаться от любых суждений — привычка, благодаря которой мне раскрывало души немалое число интересных людей, хоть она же и обращала меня в жертву закоренелым занудам. Владелец не вполне нормального разума умеет быстро обнаруживать такую склонность в человеке нормальном и вцепляться в него мертвой хваткой, отчего и получилось, что в колледже меня несправедливо считали тонким интриганом, поскольку люди никому не любопытные, дичившиеся всех прочих, посвящали меня в свои горестные тайны. По большей части я

the intimate revelations of young men, or at least the terms in which they express them, are usually plagiaristic and marred by obvious suppressions. Reserving judgments is a matter of infinite hope. I am still a little afraid of missing something if I forget that, as my father snobbishly suggested, and I snobbishly repeat, a sense of the fundamental decencies is parceled out unequally at birth.

And, after boasting this way of my tolerance, I come to the admission that it has a limit. Conduct may be founded on the hard rock or the wet marshes, but after a certain point I don't care what it's founded on. When I came back from the East last autumn I felt that I wanted the world to be in uniform and at a sort of moral attention forever; I wanted no more riotous excursions with privileged glimpses into the human heart. Only Gatsby, the man who gives his name to this book, was exempt from my reaction — Gatsby, who represented everything for which I have an unaffected scorn. If personality is an unbroken series of successful gestures, then there was something gorgeous about him; some heightened sensitivity to the promises of life, as if he were related to one of those intricate machines that register earth-

их откровений отнюдь не искал и нередко, едва появившись по некоторым безошибочно узнаваемым признакам, что на горизонте замаячила интимная исповедь, изображал сонливость, великую занятость или неприязненную легковесность; ведь интимные исповеди молодых мужчин или, по крайней мере, выражения, в которые они облачаются, как правило, отдают плагиатом либо основательно замутняются очевидными недомолвками. Воздерживаться от суждений — значит питать неутолимую надежду. Я и поныне боюсь упустить что-нибудь важное, если вдруг забуду то, что не без тщеславия утверждал мой отец и не без тщеславия повторяю я: что краеугольное качество добропорядочности распределяется между нами, рождающимися на свет, не поровну.

Ну вот, побахвалившись подобным образом присущей мне терпимостью, я готов признать, что и ей положены определенные пределы. Поведение человека может иметь фундаментом крепкую скальную породу, а может и болотную топь, однако по пересечении определенной черты я перестаю интересоваться тем, что лежит в его основе. Вернувшись прошлой осенью с востока страны, я томился жаждой единообразия мира: желал, чтобы он, когда дело идет о нравственности, застыл на стойке «смирно», а сумбурные экскурсии с правом осмотра тайников человеческих душ более не привлекали меня. Исключением стал лишь Гэтсби, тот, именем коего названа эта книга, — Гэтсби, олицетворявший все, к чему я питал безучастное презрение. Если личность можно оценивать по не-

quakes ten thousand miles away. This responsiveness had nothing to do with that flabby impressionability which is dignified under the name of the “creative temperament”—it was an extraordinary gift for hope, a romantic readiness such as I have never found in any other person and which it is not likely I shall ever find again. No — Gatsby turned out all right at the end; it is what preyed on Gatsby, what foul dust floated in the wake of his dreams that temporarily closed out my interest in the abortive sorrows and short-winded elations of men.

My family has been prominent, well-to-do people in this Middle Western city for three generations. The Carraways are something of a clan, and we have a tradition that we’re descended from the Dukes of Buccleuch, but the actual founder of my line was my grandfather’s brother, who came here in fifty-one, sent a substitute to the Civil War, and started the wholesale hardware business that my father carries on today.

I never saw this great-uncle, but I’m supposed to look like him — with special reference to the rather hardboiled painting that hangs in father’s office. I graduated from New Haven in 1915, just

прерывной чередой удачных жестов, то в нем действительно присутствовало нечто блестящее, обостренная восприимчивость к посулам жизни; он был подобен сложному прибору, который слышит землетрясения, происходящие в десяти тысячах миль от него. Эта отзывчивость не имела ничего общего с вялой впечатлительностью, которая носит благородное прозвание «творческая натура», — она была поразительным даром надежды, романтической готовности ко всему на свете, даром, какого я не встречал больше ни в ком и какой навряд ли увижу снова. Нет, в конечном счете, Гэтсби оказался человеком замечательным — это те, кто жил за его счет, та грязная пыль, что вилась по пятам за его мечтаниями, — она заставила меня на время утратить интерес к бесплодным печалям и взлетам наделенных куцыми крыльями людей.

Происхожу я из видной, состоятельной семьи, три поколения которой жили в родном моем городе на Среднем Западе. Каррауэи — это подобие клана; согласно преданию, мы ведем свой род от герцогов Баклю, хотя непосредственным основателем нашей линии был брат моего деда, перебравшийся сюда в пятьдесят первом, отправивший кого-то взамен себя на Гражданскую войну и основавший оптовую торговлю скобяным товаром, возглавляемую ныне моим отцом.

Двоюродного дедушку мне видеть не довелось; предполагается, однако ж, что я похож на него, — доказательством служит довольно топорной работы портрет его, висящий в кабинете отца. Учебу



a quarter of a century after my father, and a little later I participated in that delayed Teutonic migration known as the Great War. I enjoyed the counter-raid so thoroughly that I came back restless. Instead of being the warm center of the world, the Middle West now seemed like the ragged edge of the universe — so I decided to go East and learn the bond business. Everybody I knew was in the bond business, so I supposed it could support one more single man. All my aunts and uncles talked it over as if they were choosing a prep school for me, and finally said, “Why — ye-es,” with very grave, hesitant faces. Father agreed to finance me for a year, and after various delays I came East, permanently, I thought, in the spring of twenty-two.

The practical thing was to find rooms in the city, but it was a warm season, and I had just left a country of wide lawns and friendly trees, so when a young man at the office suggested that we take a house together in a commuting town, it sounded like a great idea. He found the house, a weather-beaten cardboard bungalow at eighty a month, but at the last minute the firm ordered him to Washington, and I went out to the country alone. I had a dog — at least I had him for a few days until he ran away — and an old Dodge

в Нью-Хейвене я закончил в 1915 году, ровно через четверть века после отца, и несколько позже принял участие в той запоздалой миграции тевтонского племени, что получила название Мировой войны. Наш контрудар доставил мне удовольствие столь большое, что, и вернувшись домой, я все никак не мог успокоиться. Средний Запад представлялся мне теперь не уютным центром вселенной, но ее неказистой окраиной — и потому я надумал поехать на Восток, дабы изучить тонкости обращения с долговыми обязательствами. Каждый, кого я знал, занимался долговыми обязательствами, вот я и решил, что этот бизнес в состоянии прокормить еще одного холостяка. Тетушки мои и дядюшки обсуждали сей замысел с таким усердием, точно дело шло о выборе для меня частной школы, и наконец постановили: «Ну, что же, д-да», сохраняя, впрочем, на лицах мрачное, неуверенное выражение. Отец согласился в течение года выплачивать мне содержание, и весной двадцать второго я отправился на Восток — навсегда, как я полагал.

Разумнее всего было подыскать жилище в городе, однако время стояло теплое, а я только что покинул край просторных лужаек и приветливых деревьев, поэтому, когда работавший в одном со мной офисе молодой человек предложил снять с ним на пару дом в пригороде, я счел эту мысль превосходной. Он подыскал издавшее виды шаткое бунгало, сдававшееся за восемьдесят долларов в месяц, но в последнюю минуту фирма отослала его в Вашингтон, и пришлось мне отправиться за город одному.

and a Finnish woman, who made my bed and cooked breakfast and muttered Finnish wisdom to herself over the electric stove.

It was lonely for a day or so until one morning some man, more recently arrived than I, stopped me on the road.

“How do you get to West Egg village?” he asked helplessly.

I told him. And as I walked on I was lonely no longer. I was a guide, a pathfinder, an original settler. He had casually conferred on me the freedom of the neighborhood.

And so with the sunshine and the great bursts of leaves growing on the trees, just as things grow in fast movies, I had that familiar conviction that life was beginning over again with the summer.

There was so much to read, for one thing, and so much fine health to be pulled down out of the young breath-giving air. I bought a dozen volumes on banking and credit and investment securities, and they stood on my shelf in red and gold like new money from the mint, promising to unfold the shining secrets that only Midas and Morgan and Maecenas knew. And I had the high intention of reading many other books besides. I was rather literary in college — one year I wrote a series of very solemn and obvious editorials for the Yale News — and now I was going to bring

У меня была собака — во всяком случае, пробыла несколько дней, пока не сбежала, — старенький «Додж» и финских кровей служанка, которая стелила мою постель, готовила завтрак и вполголоса делилась сама с собой, стоя у электрической плитки, перлами финской мудрости.

День-другой мне было одиноко, но затем поутру меня остановил на дороге человек, приехавший туда позже меня.

— Не скажете, как попасть на Западное Яйцо? — сокрушенно осведомился он.

Я объяснил. И продолжил свой путь, уже не терзаясь одиночеством: я обратился в проводника, следопыта, первого поселенца. Сам того не заметив, человек этот даровал всему, что меня здесь окружало, свободу.

В то утро, под солнцем и трепетом листвы, которая словно рвалась из древесных ветвей, как при замедленной киносъемке, ко мне вернулась привычная уверенность: с летом жизнь начинается заново.

Мне предстояло, прежде всего, столь многое прочитать, впитать столько здоровья из молодого воздуха, которым так привольно дышалось. Я купил десяток томов по банковскому и кредитному делу, по ценным бумагам, и они выстроились на полке, красные с золотом, похожие на только что отчеканенные монеты, обещая открыть ослепительные тайны, ведомые лишь Мидасу, Моргану и Меценату. Впрочем, я имел возвышенное намерение прочесть и множество иных книг. В колледже я питал склонность к литературе — в один год написал даже

back all such things into my life and become again that most limited of all specialists, the “well-rounded man.” This isn’t just an epigram — life is much more successfully looked at from a single window, after all.

It was a matter of chance that I should have rented a house in one of the strangest communities in North America. It was on that slender riotous island which extends itself due east of New York — and where there are, among other natural curiosities, two unusual formations of land. Twenty miles from the city a pair of enormous eggs, identical in contour and separated only by a courtesy bay, jut out into the most domesticated body of salt water in the Western hemisphere, the great wet barnyard of Long Island Sound. They are not perfect ovals — like the egg in the Columbus story, they are both crushed flat at the contact end — but their physical resemblance must be a source of perpetual confusion to the gulls that fly overhead. To the wingless a more arresting phenomenon is their dissimilarity in every particular except shape and size.

I lived at West Egg, the — well, the less fashionable of the two, though this is a most superficial tag to express the bizarre and not a little sinister contrast between them. My house was at the very tip of the egg, only fifty yards from the Sound, and squeezed

для «Йель-Ньюс» несколько весьма напыщенных и тривиальных передовых статей, — и теперь собирался обновить эту сторону моей жизни, снова стать самым узким из всех специалистов — «широко образованным человеком». И это не праздная ирония — в конце концов, жизнь удобнее всего созерцать, имея в своем распоряжении только одно оконце.

Случай распорядился так, что дом я снял в одном из самых удивительных поселений Северной Америки. Оно находится на длинном, бестолковом острове, что тянется от Нью-Йорка прямо на восток, — здесь среди прочих причуд природы имеется два необычных геологических курьеза. В двадцати милях от города во влажное задворье Нью-Йорка, именуемое проливом Лонг-Айленд — а это самое обжитое в Западном полушарии морское пространство, — вдается пара огромных, одинаковых по очертаниям «яиц», разделенных бухтой, каковую местные жители с учливой снисходительностью именуют «заливом». Подобно колумбовым, совершенной овальностью эти «яйца» не отличаются, оба слегка приплюснуты со стороны «залива», однако физическое подобие их наверняка сбивает с толку парящих над ними чаек. Бескрылых же существ куда сильнее завораживает их несходство во всем, кроме формы и размера.

Я жил на Западном Яйце, бывшем, как бы это сказать... менее фешенебельным, чем Восточное, хотя это поверхностное слово едва ли передает странный и не в малой мере зловещий контраст двух островов. Дом мой стоял на самой оконечности «яйца»,

between two huge places that rented for twelve or fifteen thousand a season. The one on my right was a colossal affair by any standard — it was a factual imitation of some Hotel de Ville in Normandy, with a tower on one side, spanking new under a thin beard of raw ivy, and a marble swimming pool, and more than forty acres of lawn and garden. It was Gatsby's mansion. Or, rather, as I didn't know Mr. Gatsby, it was a mansion, inhabited by a gentleman of that name. My own house was an eyesore, but it was a small eyesore, and it had been overlooked, so I had a view of the water, a partial view of my neighbor's lawn, and the consoling proximity of millionaires — all for eighty dollars a month.

Across the courtesy bay the white palaces of fashionable East Egg glittered along the water, and the history of the summer really begins on the evening I drove over there to have dinner with the Tom Buchanans. Daisy was my second cousin once removed, and I'd known Tom in college. And just after the war I spent two days with them in Chicago.

Her husband, among various physical accomplishments, had been one of the most powerful ends that ever played football at New Haven — a national figure in a way, one of those men who reach such an acute

не более чем в пятидесяти ярдах от Пролива, и был затиснут между двумя огромными дворцами, которые сдавались за двенадцать, а то и пятнадцать тысяч в сезон. Возвышавшийся справа, колоссальный по каким угодно меркам, был, на деле, имитацией нормандского Hôtel de Ville — с фланговой башней, новизна которой просвечивала сквозь реденькую бородку юного плюща, мраморным бассейном и сорочка с лишком акрами лужаек и парков. То была обитель Гэтсби. Правильнее сказать, поскольку знакомство с мистером Гэтсби я свел не сразу, то была обитель джентльмена, носившего эту фамилию. Мой же дом представлялся бельмом на глазу, однако бельмом маленьким и потому его проглядели, а я получил возможность наслаждаться видом на Пролив и на кусочек одной из лужаек моего соседа. Утешительная близость к миллионерам — и всего за восемьдесят долларов в месяц.

На другом берегу «залива» посверкивали выстроившиеся вдоль воды белоснежные дворцы фешенебельного Восточного Яйца, и начало истории того лета пришлось, по сути, на вечер, когда я отправился туда, чтобы пообедать с мистером и миссис Том Бьюкенен. Дэйзи приходилась мне троюродной племянницей, а Тома я знал по университету. Кроме того, сразу после войны я провел с ними два дня в Чикаго.

Муж Дэйзи, обладатель множества физических достоинств, был одним из самых мощных тайтэндов, какие когда-либо играли в футбольной команде Нью-Хейвена — фигурой масштаба, в некотором



limited excellence at twenty-one that everything afterward savors of anticlimax. His family were enormously wealthy — even in college his freedom with money was a matter for reproach — but now he'd left Chicago and come East in a fashion that rather took your breath away; for instance, he'd brought down a string of polo ponies from Lake Forest. It was hard to realize that a man in my own generation was wealthy enough to do that.

Why they came East I don't know. They had spent a year in France for no particular reason, and then drifted here and there unrestfully wherever people played polo and were rich together. This was a permanent move, said Daisy over the telephone, but I didn't believe it — I had no sight into Daisy's heart, but I felt that Tom would drift on forever seeking, a little wistfully, for the dramatic turbulence of some irrecoverable football game.

And so it happened that on a warm windy evening I drove over to East Egg to see two old friends whom I scarcely knew at all. Their house was even more elaborate than I expected, a cheerful red-and-white Georgian Colonial mansion, overlooking the bay. The lawn started at the beach and ran toward the front door for a quarter of a mile, jumping over sundials and brick walks and burning gardens — finally when it reached the house drifting up the side in bright vines

роде, национального, одним из тех, кто в двадцать один год достигает таких, пусть и до крайности узких, но высот, что дальнейшая их жизнь приобретает привкус поражения. Семья Тома была несоветимо богата — даже в колледже его безудержное мотовство порождало множество нареканий, — ныне же он покинул Чикаго ради Востока с размахом попросту ошеломительным: перевезя, к примеру, из Лейк-Фореста целый табун пони для игры в поло. Трудно представить, что человек моего поколения может быть богат настолько, чтобы позволить себе подобную роскошь.

Что привело их на Восток, я не знаю. Они прожили, без какой-либо на то причины, год во Франции, а после их словно вихрь какой-то носил по местам, где богатые люди играют в поло и упиваются обществом друг друга. Это — последний переезд, сказала мне по телефону Дэйзи, однако я ей не поверил — читать в ее сердце я не умел, но чувствовал, что Том так и будет носиться по свету, выискивая без особой веры в успех драматическую взвинченность какого-то невозвратимого футбольного матча.

Оттого и случилось, что теплым ветреным вечером я отправился на Восточное Яйцо повидать двух давних знакомых, которых почти не знал. Дом их оказался изукрашенным даже пуще, чем я полагал, — то был глядевший на «залив» праздничный, красный с белым особняк георгианской колониальной поры. Лужайка начиналась от пляжа и на протяжении четверти мили взбегала к парадной двери, перепрыгивая через посыпанные толченым кирпичи-

as though from the momentum of its run. The front was broken by a line of French windows, glowing now with reflected gold and wide open to the warm windy afternoon, and Tom Buchanan in riding clothes was standing with his legs apart on the front porch.

He had changed since his New Haven years. Now he was a sturdy straw-haired man of thirty with a rather hard mouth and a supercilious manner. Two shining arrogant eyes had established dominance over his face and gave him the appearance of always leaning aggressively forward. Not even the effeminate swank of his riding clothes could hide the enormous power of that body — he seemed to fill those glistening boots until he strained the top lacing, and you could see a great pack of muscle shifting when his shoulder moved under his thin coat. It was a body capable of enormous leverage — a cruel body.

His speaking voice, a gruff husky tenor, added to the impression of fractiousness he conveyed. There was a touch of paternal contempt in it, even toward people he liked — and there were men at New Haven who had hated his guts.

чом дорожки, огибая солнечные часы и горевшие множеством красок сады, — и наконец, когда я достиг особняка, вспорхнула яркими виноградными лозами по его боковой стене, словно не сумев приостановить свой бег. Фасад прорезала череда французских окон, распахнутых в теплый ветреный послеполудень и сиявших отражениями золота, а на парадной веранде стоял, широко расставив ноги, одетый для верховой езды Том Бьюкенен.

Он изменился со времен Нью-Хейвена. Ныне это был крепкий тридцатилетний мужчина с соломенными волосами, довольно жестким ртом и высокомерной повадкой. На лице его главенствовали светившиеся надменностью глаза, которые сообщали Тому вид угрожающе подавленного корпусом вперед человека. И даже дамская щеголеватость наезднического наряда не способна была скрыть огромную мощь его тела — казалось, что икры Тома, неимоверно напрягая шнуровку, до отказа наполняют поблескивающие высокие ботинки, а когда он поводил плечами, видно было, как под тонкой тканью сюртука ходят колоссальные бугры мышц. То было тело, способное на огромные усилия, — жесткое тело.

Голос Тома, резкий хрипловатый тенор, лишь усиливал создаваемое им впечатление вздорной капризности. В голосе Тома Бьюкенена звучала — даже когда он обращался к тем, кто ему нравился, — нотка покровительственной презрительности, и я знал в Нью-Хейвене немало людей, которые его на дух не переносили.

“Now, don’t think my opinion on these matters is final,” he seemed to say, “just because I’m stronger and more of a man than you are.” We were in the same senior society, and while we were never intimate I always had the impression that he approved of me and wanted me to like him with some harsh, defiant wistfulness of his own.

We talked for a few minutes on the sunny porch.

“I’ve got a nice place here,” he said, his eyes flashing about restlessly.

Turning me around by one arm, he moved a broad flat hand along the front vista, including in its sweep a sunken Italian garden, a half acre of deep, pungent roses, and a snub-nosed motorboat that bumped the tide offshore.

“It belonged to Demaine, the oil man.” He turned me around again, politely and abruptly. “We’ll go inside.”

We walked through a high hallway into a bright rosy-colored space, fragilely bound into the house by French windows at either end. The windows were ajar and gleaming white against the fresh grass outside that seemed to grow a little way into the house. A breeze blew through the room, blew curtains in at one end and out the other like pale flags, twisting them up toward the frosted wedding-cake of the ceil-

«Я, в отличие от вас, настоящий мужчина, да и посильнее вашего буду, — казалось, желал сказать он, — однако из этого не следует, что я всегда прав». Мы состояли в одном тайном студенческом обществе, и, хотя близкими друзьями не стали, мне всегда казалось, что Том неплохо ко мне относится и испытывает смутное желание произвести на меня приятное впечатление, не поступившись, однако ж, своей вызывающей и какой-то тоскливой резкостью.

Несколько минут мы беседовали, стоя на заливной солнцем веранде.

— Недурственным я здесь обзавелся жилищем, — сказал он, окидывая беспокойным взглядом свои владения.

Он развернул меня кругом и обвел широкой плоской ладонью открывавшийся с веранды вид, охватив этим жестом притопленный в землю итальянский парк, полакра темных роз, которые наполняли воздух язвящим ароматом, и покачивавшуюся у берега тупоносую моторную яхту.

— Все это принадлежало Демэйну, нефтедобытчику. — Он снова развернул меня, учтиво, но резко. — Пошли в дом.

Пройдясь под высокими потолками вестибюля, мы вступили в яркое, розовых тонов пространство, которое неуверенно удерживали внутри дома французские окна, светившиеся на противоположных его краях. Окна стояли настежь, белея на свежей зелени наружной травы, казалось проникавшей отчасти и вглубь дома. Легкий ветер гулял по комнате, вдывая в нее занавеси на одном конце и выплескивая,

ing, and then rippled over the wine-colored rug, making a shadow on it as wind does on the sea.

The only completely stationary object in the room was an enormous couch on which two young women were buoyed up as though upon an anchored balloon. They were both in white, and their dresses were rippling and fluttering as if they had just been blown back in after a short flight around the house. I must have stood for a few moments listening to the whip and snap of the curtains and the groan of a picture on the wall. Then there was a boom as Tom Buchanan shut the rear windows and the caught wind died out about the room, and the curtains and the rugs and the two young women ballooned slowly to the floor.

The younger of the two was a stranger to me. She was extended full length at her end of the divan, completely motionless, and with her chin raised a little, as if she were balancing something on it, which was quite likely to fall. If she saw me out of the corner of her eyes she gave no hint of it — indeed, I was almost surprised into murmuring an apology for having disturbed her by coming in.

The other girl, Daisy, made an attempt to rise — she leaned slightly forward with a conscientious expression — then she laughed, an absurd, charming little laugh, and I laughed too and came forward into the room.

как светлые флаги, вовне на другом, скручивая их, взметая к глазированной свадебному торту потолка, а после зыбля над виноцветным ковром, устилая его бегущими, словно по морю, тенями.

Единственным, что хранило в этой комнате совершенную неподвижность, был огромный диван, над которым парили, чуть покачиваясь, точно монгольферы на привязи, две молодые женщины. Обе в белом, платья обеих струились и колыхались, как будто их обладательницы только что приземлились здесь, совершив недолгий облет дома. Должно быть, я простоял несколько мгновений на пороге комнаты, вслушиваясь в хлопки и щелчки занавесей, в постановяния картины на стене. Затем раздался гулкий удар — это Том Бьюкенен захлопнул задние окна, и пойманный в ловушку ветер выпустил в комнате дух, и занавеси, и ковры, и две молодые женщины медленно опали из воздуха на свои места.

Той, что была помоложе, я не знал. Она лежала, вытянувшись на своем конце дивана, совершенно неподвижная, чуть приподняв подбородок, словно уравновесив на нем некий предмет, почти наверняка обреченный на падение. Если она и заметила меня краем глаза, то ничем этого не показала — и я, пораженный, едва не забормотал слова извинения за то, что нарушил, явившись сюда, ее покой.

Вторая женщина, Дэйзи, честно попыталась встать — чуть наклонилась вперед, но затем издала нелепый, чарующий смешок, и я, тоже усмехнувшись, вошел в комнату.



“I’m p-paralyzed with happiness.”

She laughed again, as if she said something very witty, and held my hand for a moment, looking up into my face, promising that there was no one in the world she so much wanted to see. That was a way she had. She hinted in a murmur that the surname of the balancing girl was Baker. (I’ve heard it said that Daisy’s murmur was only to make people lean toward her; an irrelevant criticism that made it no less charming.)

At any rate, Miss Baker’s lips fluttered, she nodded at me almost imperceptibly, and then quickly tipped her head back again — the object she was balancing had obviously tottered a little and given her something of a fright. Again a sort of apology arose to my lips. Almost any exhibition of complete self-sufficiency draws a stunned tribute from me.

I looked back at my cousin, who began to ask me questions in her low, thrilling voice. It was the kind of voice that the ear follows up and down, as if each speech is an arrangement of notes that will never be played again. Her face was sad and lovely with bright things in it, bright eyes and a bright passionate mouth, but there was an excitement in her voice that men who had cared for her found difficult to forget: a singing compulsion, a whispered “Listen,” a promise that she had done gay, exciting things just a while since and that there were gay, exciting things hovering in the next hour.